

Не издевательства, а исторической правды ради, можно было бы без всякой натяжки назвать Алексея Александровича Суркова живым воплощением прозы Андрея Платонова, одним из персонажей того же «Чевенгура». Там почти на всякой странице отыщутся слова, которые могли бы стать эпиграфом к его жизни. Взять хотя бы высказывание «уполномоченного волревкома» Игнатия Мошонкова, переименовавшего себя «в целях самоусовершенствования» в Фёдора Достоевского: «Даю социализм! Ещё рожь не поспеет, а социализм будет готов!.. А я смотрю: чего я тоскую? Это я по социализму скучал». Причём, в отличие от литературных двойников, реальная судьба Алексея Суркова являет собой абсолютную полноту и завершённость (даже в посмертном своём продолжении), на которую у Платонова для дальнейшего описания не хватило уже ни времени, ни могучей фантазии. И эта полнота, опять же говорю без иронии, не есть некая законченность и цельность какого-то порока, каких-то отдельных качеств или ущербности людей определённой эпохи, но включает в себя всё лучшее и худшее, что вообще составляет суть каждого человека, и лишь имеет перевес, сбой нравственного центра тяжести в ту или иную сторону в зависимости от востребованности временем и обстоятельствами тех или иных душевных наклонностей. Как говорил Оптинский старец, преподобный Амвросий: «Если мы не совершили преступлений, какие совершили другие, то это, может быть, потому, что не имели к тому случая, — обстановка и обстоятельства были другие. Во всяком человеке есть что-нибудь хорошее и доброе, мы же обыкновенно видим в людях только пороки...».

Алексей Сурков любил называть себя в своих стихах «ровесником века». И он действительно прошёл с двадцатым веком бóльшую часть исторического пути, в чём-то отразив его, в чём-то сам став его отражением. Вот почему поэзия и судьба Суркова представляют

интерес не только как литературный факт, но и как социально-психологический феномен своего времени. Времени, главная диалектика которого сводилась к грубой примитивной схеме: из грязи — в князи, из князей — в грязь.

Кто бы мог предположить, что родившийся в Ярославской деревне Середнёво в семье бедного крестьянина простой парнишка станет по прошествии лет не только известным поэтом, но и крупным писательским чиновником, государственным деятелем. Никаких особых знаков и благодатных знамений, указующих на его будущий избранный удел, над ним не воссияло. Правда, какая-то чудная странность («чевенгурского» окраса!) промелькнула обещанием чего-то неожиданного в имени сурковского прадеда, которого, один Бог знает с какой стати, почему-то звали Помпеем, а бабки поэта ходили на барщину к господам, среди которых, впрочем, был и некто Михáлков, по-видимому один из дальних родственников будущего автора гимна Советского Союза и коллеги самого Алексея Александровича по секретарской деятельности на вершине писательской власти.

Сурков был, говоря языком его ровесника, Николая Тихонова, из поколения «праздничных, весёлых, бесноватых». Он не просто участвовал в Гражданской войне, он громил своих же собратьев, обезумевших от голода и насилия восставших крестьян в Тамбовской губернии, которых он называл «кулацкими бандами Антонова» и которых командующий карательными войсками Тухачевский усмирлял в соответствии со своим указом следующим образом: «Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, рассчитывать так, чтобы облако удушливых газов распространилось полностью по всему лесу, уничтожая всё, что в нём пряталось».

Об этих, пришедших в литературу из Гражданской войны, «изнутри революции», авторах, Сурков со всею большевистской прямоотой скажет в своей небезызвестной речи на Первом съезде писателей, что для них, а, значит, и для него, «вопрос о прощении с прошлым... никогда не стоял». Иными словами, он без колебаний и тени смущения признаёт, что в литературу и в жизнь ворвались люди без прошлого, без памяти, без культуры, без языка, без роду и племени.

Это выпадение из истории, изобретение новой истории и нового языка гениально почувствовал другой современник Суркова, тоже закольцевавший своим юбилеем двадцатый век, Андрей Платонов, фактически ощутивший современную историю, как историю дважды падшего мира: первый раз при Адаме, второй — при большевиках. Если сотворение мира зиждилось на том, что в начале было Слово, то сотворение нового мира зиждилось на том, что в начале было... отнято Слово. «Как такие слова называются, которые непонятны?» — спрашивает один из героев «Чевенгура». — «Тернии иль нет?» — «Термины», — кратко отвечает Дванов». «Тернии, конечно же, тернии!..» — повторим мы вслед за великим печальником русского слова, до сих пор не избыв их роковой власти («Не так страшен чёрт, как его малютки!»), продолжая жить уже не только по «терминам», но и «по понятиям» «чевенгурской» дурной бесконечности...

Приход в литературу Сурковых, Жаровых, Уткиных, Безыменских, Алтаузеных, Тихоновых, Долматовских... — назывался «большим подъёмом творческой самодеятельности масс». Поскольку природа не терпит пустоты, в освободившуюся после деморализованной, разогнанной, уничтоженной интеллигенции нишу, хлынула здоровая, не изъеденная сомнениями и рефлексией сила, молодая кровь наглости неведения (у наглости кровь — всегда молодая и напористая!).

Первые стихи Алексея Суркова появились в 1918 году в «Красной газете», когда ещё в полном расцвете творческих устремлений были Александр Блок, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Валерий Брюсов, Фёдор Сологуб... Но уже через несколько лет, «политбоек Алёша Сурков», как его называли, заговорит на языке, который Платонову даже не надо было выдумывать, нужно было лишь прислушаться к таким «политбойцам», учающим с высокой трибуны несознательных интеллигентов: «Поэтические возможности находятся в прямой зависимости от степени смелости перевода на новую вышку виденья

мира». И всё бы ничего, Бог с ней, забылась бы или стала анекдотом эта «новая вышка виденья мира», прощительная для вчерашнего крестьянского паренька, явно не тянущего на роль нового Лессинга, создающего свою революционную эстетику. Так нет, на пятки наступают критики, подбадривают, поощряют. «С самых первых своих шагов А. Сурков, — пишет О. Резник, автор монографии о поэте, — занял наступательную позицию против эстетских гладкописцев, любителей „изящного виршеплетения“, тех самых, которых не раз крепко бил, но не добил при жизни Маяковский».

Но если всё же соблазнится поэт «недобитым» «изящным виршеплетением», и выдаст что-нибудь, вроде:

Сядь со мной, мой ненаглядный, рядом,
Покажи мне серые глаза... —

как уже бдительный Резник напоминает ему об идеологической чистоте: «ахматовское здесь не только в надрывной интонации, но и в назойливой сероглазости...», неожиданно устанавливающей лирическое «родство» советского сурковского моряка с ахматовским «сероглазым королем». Вот те на! «Назойливая сероглазость», надо понимать, это какая-то классовая противоположность «новой вышке видения мира»!

На Первом съезде советских писателей в 1934 году подзаматеревший Алексей Сурков бросается в бой — ни много, ни мало — с самим Бухариным (по сути, с Партией!), вступая в полемику с его докладом по поэзии, где тот противопоставлял гражданской линии Маяковского, как отжившей, выполнившей свою задачу, камерность и аполитичность поэзии Пастернака. «Давайте не будем размагничивать молодое красногвардейское сердце нашей хорошей молодёжи, — говорил, словно зачитывая платоновскую прозу, Сурков, — лирической водой... Будем держать лирический порох сухим!» И читатель с удовлетворением мог от книги к книге убеждаться в «сухости пороха» самого поэта:

Ой ты, песня, путь, пройденный
В строгом шелесте знамён!
На крылечко встань, Буденный,
Свет Михайлович, Семён...

А любимая о ту пору отправляющемуся в поход другу:

...На кисете, на добро и на беду,
Алым шёлком шила-вышила звезду.
Шила-вышила удалой голове
Серп и молот алым шёлком по канве...

Наверное, имея в виду такого рода образцы, О. Резник, в частности, приходил к вдохновляющему выводу: «К началу тридцатых годов, когда стали выходить первые сборники стихов А. Суркова, социалистический реализм уже одержал значительную победу».

Сегодня уже невозможно понять, до какого момента Алексей Сурков искренно верил в то, о чём говорил в своих идеологических стихах. Единственный объективный критерий «неискренности» — это явные провалы в пародийность его якобы гражданственных и публицистических стихов, типа:

Я в жизни объехал много стран
Англию видел, видел Иран...

Или:

В нашей стране над стихами и песнями
Властвует высший свободы закон...

Но нельзя не признать, что Сурков умел весьма лихо «закручивать» свои идеологические творения. Достаточно вспомнить хотя бы его знаменитую «Песню смелых», которую без задних мыслей, от чистого сердца, распевала вся страна:

Стелются чёрные тучи,
Молнии в небе снуют.
В облаке пыли летучей
Трубы тревогу поют.

С бандой фашистов сразиться
зовёт.
Смелого пуля боится,
Смелого штык не берёт.

Жанр песни вообще удавался Суркову. Его «Конармейская» стала классикой в музыкальной истории Гражданской войны:

По военной дороге
Шёл в и тревоге
Боевой восемнадцатый год.
Были сборы недолги,
От Кубани до Волги
Мы коней поднимали в поход...

За свою долгую жизнь Алексей Александрович выпустил несколько десятков сборников стихотворений, за которые получал ордена, Государственные премии, а в 1969-м даже стал Героем Социалистического Труда. Он был депутатом Верховного Совета СССР и РСФСР, секретарем Союза писателей СССР, избирался членом Центральной ревизионной комиссии КПСС (1952–1956), кандидатом в члены ЦК КПСС (1956–1966). И ничего удивительного в том, что власть пригревает верных ей подданных, нет. Гаври́ла Романович Державин тоже, как известно, получил от Екатерины II табакерку с червонцами за её прославление в оде «Фелица», а потом получал от неё чины. С той лишь разницей, что со времён Державина мало кто мог, как он, «истину царям с улыбкой говорить». И не нашлось у нас своего Андре Шенье, который, по-началу поверив в народный энтузиазм и «в обновление человечества, достойное благ Свободы», всё же сумел разглядеть звериный оскал революции и ценою собственной жизни бросить ей свою анафему.

Но, вчитываясь в лучшие стихи Суркова, зная многие его человеческие поступки (отнюдь не правоверные), обнаруживаешь честные уголки поэтического сердца и даже гибкость недогматических мыслей. Всё-таки его «генеральское» предисловие способствовало выходу наиболее полного по времени 1976 года собрания стихов Анны Ахматовой в большой серии «Библиотеки поэта», где он называл Ахматову «выдающейся русской поэтессой». Правда, прежде было у него и весьма знаменательное послесловие к одному из её сборников стихотворений, где он с элегантною слона в посудной лавке обронил фразу о том, что «у Ахматовой не хватило ума»... После такого «послеловия» у Анны Андреевны был сильнейший сердечный приступ...

И всё же, именно Сурков помог О. Мандельштаму, когда тот приехал в Москву из Воронежа, не имея средств к существованию.

Необходимо вспомнить и эпизод (бесстрашный по меркам тех времён!), когда он встретился и морально поддержал тайно приехавших в Москву из ссылки (высылки) кавказских поэтов Джемалдина Яндиева и Кайсына Кулиева, с которыми, кроме него, никто не решился увидеться.

Не найти имени Алексея Суркова и среди тех, кто на общемосковском собрании писателей в 1958 году громил Бориса Пастернака. Даже среди не выступивших, но записавшихся в прениях, Суркова нет. Хотя в былые времена он не раз вступал в идеологическую и эстетическую схватку с ним, правда, одностороннюю. Можно быть уверенным, что он до конца жизни считал, как остроумно высказался однажды, что Пастернак «заманивает вселенную на очень узкую площадку своей лирической комнаты».

Читая стихи молодого А. Суркова, особенно его военные циклы (а он участник трёх войн — Гражданской, зимней компании 1939–1940 года и Великой Отечественной), убеждаешься, что в нём были задатки большого поэта. У него сильная, энергичная строка, наполненная воздухом революционного романтизма. Он прекрасно чувствует новую языковую стихию. Но главное его качество, с годами, к сожалению, утраченное, задавленное риторикой, — это нефальшивый лирический голос и свободная, по высшему счёту поэтическая интонация. Только истинный поэт может начать стихотворение такой удивительной строкой: «В смертном ознобе под ветром трепещет осина...», и далее:

Ворон-могильщик, от пепла горячего серый,
Падает в чёрную ночь с обгорелых ворот...

Но что Суркову эти трагические суровые стихи, когда уже вся страна поёт его «Конармейскую», «Песню смелых», когда он не по дням, а часам вырастает в крупного общественного деятеля. И всё же, ему ещё предстоит неподкупное творческое счастье. Он ещё напишет лучшие свои стихи о войне: «Курганами славы покрыта родная равнина», «Человек склонился над водой», «Застольную песню» и одно из самых пронзительных стихотворений «Видно, выписал писарь мне дальний билет...», звучащее как исповедь его поколения:

Череда лихолетий текла надо мной,
От полночных пожаров красна.
Не видал я, как юность прошла стороной,
Как легла на виски седина.
И от пуль невредим, и жарой не палим,
Прохожу я по кромке огня.
Видно, мать непомерным страданьем своим
Откупила у смерти меня.
Испытало нас время свинцом и огнём.
Стали нервы железу под стать...

И, конечно же, среди этих шедевров — «Бьётся в тесной печурке огонь», стихи, ставшие фактически народной песней на все времена. Может быть, эту песню навсегда запомнили ещё и потому, что в ней Алексей Сурков, обращаясь к любимой женщине, высказал своё самое тайное, что всю жизнь носил в себе, но в чём никому не мог признаться:

Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой...

Но этот живой, тоскующий (о чём? о напрасно растратенном даре? о добровольном беспамятстве и отказе от собственного прошлого?..) голос всё реже давал о себе знать в бесцветных, становящихся с годами окончательно мёртвыми стихах...

Есть какая-то мистическая тайна о возмездии ли, о справедливости ли судьбы в том, что всё окружавшее поэта в детстве, все деревни вокруг Середнёва, всё родное и знакомое, где родился и рос Сурков, исчезли бесследно с лица земли, ушли на дно Рыбинского водохранилища, хотя Середнёво всё-таки каким-то чудом уцелело. Поэт с огорчением напишет об этом в стихах «Мир детства моего на дне морском исчез...» и назовёт утраченное «деревенской Атлантидой». Но не сам ли он отказался от прошлого? И прошлое отомстило ему. А Атлантидой, увы, оказалась эпоха, которой он так долго и верно служил. Под воду времени ушли лозунги, идеи, победы и трагедии, и самого его вместе с его поэзией, с тоской по социализму и титулами затягивает и затягивает на дно. И лишь зацепившееся за край оползающего берега Середнёво напоминает, что появился там когда-то на свет человек с живым и тоскующим голосом.